

ЛЕВ
ШЕСТОВ

ФИЛОСОФИЯ
ТРАГЕДИИ

ПЕЧАТОВАНА НА СЪСТАВНО

Лев Исаакович Шестов
Добро в учении гр. Толстого и Ницше

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=177385
Философия трагедии: АСТ, Фолио; Москва; 2001
ISBN 5-17-002653-6, 966-03-0883-3

Содержание

Предисловие	4
I	8
II	12
III	16
IV	19
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Лев Шестов

Добро в учении гр. Толстого и Ницше (философия и проповедь)

Предисловие

В главе VII этой книги читатель найдет следующий отрывок из одного частного письма Белинского: «Если бы мне и удалось взлезть на верхнюю ступень лестницы развития – я и там бы попросил вас отдать мне отчет во *всех* жертвах условий жизни и истории, во *всех* жертвах случайностей, суеверия, инквизиции Филиппа II-го и пр. и пр.; иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен на счет *каждого* из моих братьев по крови. Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии». Эти строки приведены мною отнюдь не для того, чтобы поддержать высказываемые мною мысли авторитетом знаменитого писателя. Наоборот – для меня ясно, что авторитет Белинского-писателя не за, а против меня. Чтоб сослаться на него, мне пришлось обратиться не к его сочинениям, а к переписке. Но и это может показаться странным, если припомнить, что приводимый здесь отрывок уже не раз цитировался в русской литературе писателями всевозможнейших направлений. Что же это за загадочные слова, на которых сошлись люди самых различных убеждений? Быть может, заключающаяся в них мысль слишком обща и неопределенна, т. ч. поддается многообразным толкованиям? На мой взгляд – нет. На мой взгляд, едва ли во всем, что писал когда-либо Белинский, можно найти еще одно место, в котором ему бы удалось яснее и определеннее выразиться. И все-таки, несмотря на ясный смысл ничем не затемненных и простых выражений, различные толкования этого письма оказались возможными. Никто из цитировавших этот отрывок не заметил даже, что высказанная там мысль находится в самом резком, вопиющем противоречии со всем тем, что говорил Белинский в своих критических статьях. Это письмо истолковывалось в том же смысле, в каком истолковывалась его горячая литературная проповедь, даже его письмо к Гоголю. И здесь, как во всем, что исходило от Белинского, хотели видеть только великого идеалиста, возвышающего свой властный голос в защиту гуманности, человечности, добра. Он отвергает философию и Гегеля ввиду того, что они предлагают ему удовлетвориться по поводу гибели сотен Иванов совершенством одного Петра! В этой требовательности хотели видеть и видели лишь своеобразное выражение запросов справедливой и гуманной человеческой души. По этому самому прощались, даже не замечалась парадоксальная, в сущности нелепая, возмутительно нелепая форма, в которую Белинский облек свою мысль. И в самом деле, какое удовлетворение может дать Гегель Белинскому за каждую жертву истории, Филиппа II и т. п.? Если Филипп II сжег на костре кучу еретиков, то требовать теперь за них отчета – бессмысленно. Они изжарились, и их дело безвозвратно, непоправимо, *навсегда окончено*. Тут уже никакой Гегель не поможет, и заявлять протесты, негодовать, требовать отчета от всей вселенной по поводу замученных и безвременно погибших людей, очевидно, уже поздно. Нужно либо прямо отвернуться от всех этих печальных историй, либо, если хочешь, чтоб в твою теорию необходимо вошли все существенные элементы, из которых складывается человеческая жизнь – придумать что-либо вроде общей гармонии, т. е. круговой поруки человечества и засчитывать в пассив Ивана актив Петра, либо совсем бросить всякие подсчитывания итогов жизни отдельных людей и, переименовав раз навсегда человека в «индивидуумы», признать, что высшая

цель – в каком-либо общем принципе, и что этому принципу «индивидуумы» должны быть приносимы в жертву. Тогда пафос окончится, и начнется философия, настоящая, всеобъемлющая философия, в которой вполне точно и определенно будет выяснено, почему Филипп и история терзали и терзают людей и, ежели что-нибудь останется проблематическим, то разве несколько вопросов теории познания о пространстве и времени, причинности и т. д. Но с этими вопросами, как известно, время терпит. Если для них еще не подысканы настоящие объяснения – можно пока обойтись гипотезами. Ведь и возникли они, как и вся философия, если верить Аристотелю, *δια το θαυμάζειν*.¹ Ну а чтобы удовлетворить истекающей из удивления любознательности, вовсе уже не так непременно нужно найти «истину». Скорей наоборот. «Истина», в сущности, не нужна. Если бы она оказалась внезапно отысканной – это был бы очень неприятный сюрприз. По крайней мере, Лессинг так утверждал (а он знал, что говорил), когда просил Бога, чтоб Он истину оставил при себе, а человеку сохранил бы его способность заблуждаться и искать. Но Белинский, вечный ученик европейских учителей, очевидно, наедине с собой или в не предназначенной для публики частной беседе думал и говорил иначе. Он уже не хотел одних исканий – он требовал всей, полной истины и горячо протестовал против традиции своих учителей.

Это был опасный протест. Опасный потому, что он грозил прежде всего самому «идеализму» Белинского. Ибо в чем сущность и психологическая основа идеализма? Человек верит, что все его сомнения, вопросы, искания – только дело времени. Все это уже давно окончательно и очень хорошо порешено; нужно только удосужиться или умственно вырасти, чтоб обстоятельно разъяснить и себе то, что другие давно знают. Оттого естественной почвой, на которой удачнее всего произрастает идеализм, оказывается молодая культура, если ей приходится развиваться в соседстве с более зрелой цивилизацией. Даже в семьях младшие члены обыкновенно выходят «идеалистами», принимающими на веру «убеждения» старших, уже больше знающих, более опытных, более искусных во всем и более совершенных братьев. Каждое слово взрослого человека представляется таинственно содержательным ребенку. Чем непонятней и недоступней оно, тем более соблазняет оно юный ум, который видит в нем источник силы и превосходства старшего. Молодая Россия долгое время стояла именно в таком отношении к Западу. Каждое приходившее оттуда слово казалось священным. Этим, главным образом, обуславливается идеалистическое направление нашей литературы вообще и Белинского – в частности. Старший Запад был несомненно умнее, богаче, красивее нас. И мы полагали, что причина тому – его знание, его опыт. Мы верили, что есть у него «слово», которым он разрешит все. И этого слова мы искали в его науке, которую начали обоготворять много раньше, чем узнали ее. Как ужасно должно было быть разочарование каждого идеалиста после того, как при более основательном рассмотрении своей святыни, он убеждался, что она – не «истина», а «искание истины»!

В этом разочаровании и смысл обсуждаемого здесь письма Белинского. Отсюда его странные, невыполнимые требования к Гегелю. Если бы Гегель прочел это письмо, он бы назвал Белинского дикарем. Требовать от философии, чтобы она дала отчет за каждую жертву истории! Да разве это ее дело?! И затем, разве вообще можно, должно, нужно являться с такого рода требованиями к кому бы то ни было?! Правда, Гегель утверждал, что действительность разумна. Но не вина Гегеля, если Белинский истолковывал его слова в том смысле, что «правде» гарантирована победа на земле. Совсем не то. Гегель ведь и сам был идеалистом. Немцы, как и русские, тоже имели свой Запад и научились в свое время верить в идеи. Только они были основательнее, прочнее в своей вере – это уже дело характера и национальных особенностей – и потому не иначе подходили к своей святыне, как с преклоненными коленями и ничего от нее не требовали. «Действительность разумна» у Гегеля значило

¹ Из удивления.

только то, что наука должна быть поставлена впереди всего, и что, следовательно, жизнь во что бы то ни стало должна быть изображенной как вполне соответствующая требованиям разума. Пусть на самом деле этого нет – идеалист об этом не заботится – главное, чтобы с кафедры, из книг эта истина всегда возвещалась. Немецкие идеалисты как нельзя более понимали своих учителей. В искусствах, в науках (даже в общественных и исторических) действительность обрабатывалась таким образом, что она постоянно свидетельствовала во славу человеческого разума, который и до сих пор в Германии продолжает гордиться своими *a priori*. Идеализм торжествовал и до сих пор продолжает торжествовать в этой удивительной стране. И вдруг на сцену является Белинский и требует отчета у вселенной за *каждую* жертву истории! За *каждую* – слышите? Он не хочет уступить за все мировые гармонии ни единого человека, обыкновенного, среднего, простого человека, которых, как известно, историки и философы считают миллионами, в качестве пушечного мяса прогресса. Это уже не гуманность и не идеализм, а что-то иное. Немецкие историки и философы тоже гуманны. После того, когда дела прогресса улажены, они очень охотно хлопочут о жертвах истории, – но это все, что требуется, что может требоваться гуманностью. Еще, пожалуй, от них можно добыть обещания насчет будущего: как известно, наука обещает, что в будущем жертв уже не понадобится, и когда-нибудь да прекратится то нелепое движение истории, при котором условием успеха одного человека являются целые гекатомбы из других людей. Это все, чем располагает наука в утешение жертвам. В будущем обещается обязательное счастье решительно всех людей. Белинский это знает очень хорошо. Он сам это рассказывает – и как красноречиво – в своих многочисленных статьях; но наедине с собой он возмущается собственным пафосом. Он не только не хочет отдавать настоящих живых людей в жертву тем людям, которые имеют народиться через сто или тысячу лет – он вспоминает давно загубленных в пытках людей далекого прошлого и требует за них удовлетворения. Что это не простая гуманность – надеюсь, более чем очевидно. Гуманность должна смягчать, успокаивать, примирять людей на определенной деятельности в пользу ближнего. Короче, гуманность – *отвечает*, дает ответы на вопросы. Белинский же – *спрашивает* и так спрашивает, что его вопрос грозит сбить с толку самых верующих идеалистов.

Ибо, если позволительно так спрашивать, то может статься, даже почти наверное, что ответить совсем и не придется или что за ответом нужно будет идти в такие области, которых идеализм боится больше, чем самых ужасных пустынь. Здесь обычная формула идеализма может получить обратный смысл. «Действительность разумна» придется истолковывать не так, что ее следует сдабривать и обряжать до тех пор, пока «разум» не найдет ее устроенной по своим законам, а так, что «разуму» придется принять от нее взамен старых *a priori* новые *a posteriori*. Понимаете ли вы, какой отсюда выход? Может быть, что, если в этой действительности не найдется гуманности, иными словами, если не с кого будет требовать отчета за жертвы Филиппа, то разуму совсем придется отказаться от своих великодушных принципов и отыскать себе иной закон... И вообще, если действительность разумна, если от нее нельзя отказываться, если ее нельзя отрицать, если ее нужно принимать, уважать – то не есть ли выход отсюда – квиетизм, то страшное слово, которым до сих пор отпугивались от разных теорий самые смелые люди?

Всего этого «неистовый Виссарион» не рассказывает своим читателям. Все это держится под строжайшей тайной в лаборатории писательской души. В статьях же «неистовство» претворяется в смелую, живую, светлую веру, в веру в будущее, в лучшее будущее, которое приведет когда-нибудь с собой наука. Сомнения оставляются дома и там забываются за преферансом. Публике знать все это не нужно. Не нужно ей знать и того, что учитель пишет свои статьи за один почти присест, чуть ли не в порыве самозабвения. Вообще ей не следует слишком много знать. Ей требуются идеалы, и тот, кто хочет служить ей, обязан во что бы то ни стало поставлять их. Старая история! Писатель подобен раненой тигрице,

прибывавшей в свое логовище к детенышам. У нее стрела в спине, а она должна кормить своим молоком беспомощные существа, которым дела нет до ее роковой раны. И у Белинского была такая рана – о ней свидетельствует и его «неистовство», и приведенное письмо, и преферанс, – но, тем не менее, до конца жизни он бессменно стоял на своем посту и делал свое дело.

В России существовало крепостное право – не только в своде законов, но и в сердцах людей; в России было еще многое другое в том же роде. Ей нужен был публицист, солдат. Белинскому некогда было отрываться от своей службы, ему нельзя было думать о своей стреле. И он сам всегда готов был бороться с теми, кто не приходил к нему активно на помощь.

В этом смысле я и сказал, что авторитет Белинского-писателя не за, а против меня. Но всему приходит свой черед. Быть может, в данный момент тактика Белинского была бы в такой же мере неуместна, в какой она была законна и необходима в его время. Быть может – теперь молчать о том, о чем молчал он, было бы не подвигом, а преступлением. Хотя мы и не знаем до сих пор, есть ли дерево познания также и дерево жизни, но для нас уже выбора нет. Мы вкусили от плодов первого, и теперь – хотим не хотим – нам приходится приподнимать завесу над тайной, которую так тщательно скрывал Белинский, и говорить публично о том, о чем он говорил только наедине со своими близкими друзьями.

Л.Ш.

*Wehe alien Liebenden, die nicht noch eine Höhe haben, welche über
ihrem Mitleiden ist!*

F. Nietzsche. Also sprach Zarathustra (Von den Mitleidigen)

I

В своей книге «Что такое искусство» граф Толстой не в первый уже раз, но со всей страстностью впервые вступившего в борьбу человека обрушивается на современное общество. Книга называется «Что такое искусство», но не нужно особой проницательности, чтобы понять, что не в искусстве дело, и что не оно занимает собою ее автора. Гр. Толстой говорит, что сочинение это задумано им еще 15 лет тому назад, но что оно не могло быть доведено до конца, потому что мысли по этому предмету не были еще и для него самого вполне ясны. В сущности, это не совсем так. 15 лет тому назад появилась в печати статья гр. Толстого, называемая «Мысли, вызванные переписью в Москве» – и в ней уже основные положения «Что такое искусство» были высказаны вполне. Та душевная буря, которая оторвала гр. Толстого от русской интеллигенции и унесла его к иным берегам, где он научился говорить странные и чуждые нам слова, – дело давно минувших дней. «Что такое искусство» – лишь заключительное слово длинной проповеди, начатой много лет тому назад. Я говорю «проповеди», ибо все произведения последних годов гр. Толстого, даже художественные, имеют исключительную задачу: сделать выработанное им мировоззрение обязательным для всех людей. Такое стремление уже резко проявилось в «Анне Карениной». Эпиграфом к ней служит евангельский стих: «Мне отмщение и Аз воздам». Мы привыкли его истолковывать в том смысле, что окончательный суд над людьми может и должен быть произнесен не человеком, и что удача или неудача нашей земной жизни не служит доказательством правоты или неправоты нашей. Но в «Анне Карениной» чувствуется совершенно иное понимание евангельского текста. Уже в этом романе гр. Толстой не только изображает человеческую жизнь, но судит людей. И судит не так, как должен судить беспристрастный, спокойный судья, не ведающий жалости, но не знающий и гнева, а как человек, глубоко и страстно заинтересованный в исходе разбираемого им процесса. Каждая строчка этого замечательного произведения направлена против невидимого, но определенного врага или в защиту невидимого же, но тоже вполне определенного союзника. И, чем сильнее враг, тем острее и утонченнее оружие, посредством которого побивает его гр. Толстой, тем искуснее, сложнее, незаметнее работа, посредством которой подкапывается под него автор. Степан Аркадьевич Облонский побивается легко – ироническими замечаниями, комическими затруднениями, в которые он каждый раз попадает. Каренин – уже посерьезней, но и с ним сравнительно немного приходится хлопотать. Иное дело – Вронский и Кознышев. Это люди покрупнее; если они не могут по собственной инициативе создать что-либо новое, то зато они умеют развить достаточно силы, чтобы поддержать то и тех, что и кого считают своими. Ими держится известный строй; они – столпы, устойчивость которых гарантирует прочность всего здания. И на них гр. Толстой обрушивается со всей силой своего громадного дарования. Не только вся деятельность – вся жизнь их сведена на нет. Они и борются, и хлопочут, и увлекаются – но все это оказывается чем-то вроде беганья белки в колесе. Они служат какому-то бессмысленному идолу, имя которому – тщета. Послушайте, как характеризует гр. Толстой нравственные убеждения Вронского: «Жизнь Вронского тем была особенно счастлива, что у него был свод правил, несомненно определяющих все, что должно и не должно делать... Правила эти несомненно определяли, – что нужно заплатить шулеру, а портному не нужно, – что лгать не надо мужчинам, а женщинам можно, что обманывать нельзя никого, а мужа можно, что нельзя прощать оскорблений, но оскорблять можно». Вы видите, что, по мнению автора, источник нравственных побуждений Вронского – пустые общественные предрассудки. С Кознышевым то же или почти то же. Его увлечения – есть только модная подражательность. Его душевная работа – поверхностная деятельность ума, которая тем меньше значит, чем полнее и последовательнее она выражается. Итог его жизни – никому не нужная книга, ост-

роумные разговоры в гостиных и бесполезное участие в различных частных и общественных учреждениях. Вронский и Кознышев – это все, что мог найти гр. Толстой среди призванных им к суду представителей русского интеллигентного общества нового времени. К ним присоединяются еще мимоходом очерченные фигуры – но все это люди незначашие и не могущие сказать свое определенное слово читателям.

Но последним и главным подсудимым, по поводу которого, очевидно, и приведен в начале книги евангельский стих – является Анна. Ее ждет отмщение, ей воздаст гр. Толстой. Она согрешила и должна принять наказание. Во всей русской, а может быть и в иностранной литературе ни один художник так безжалостно и спокойно не подводил своего героя к ожидающей его страшной участи, как это сделал гр. Толстой в своем романе с Анной. Мало сказать безжалостно и спокойно – с радостью и торжеством. Позорный и мучительный конец Анны для графа Толстого – отрадное знамение. Убивши ее, он приводит Левина к вере в Бога и заканчивает свой роман. Если бы Анна могла пережить свой позор, если бы у нее осталось сознание своих человеческих прав и она умерла не раздавленной и уничтоженной, а правой и гордой, у гр. Толстого была бы отнята та точка опоры, благодаря которой он мог сохранить свое душевное равновесие. Пред ним явилась альтернатива – Анна или он сам, ее гибель или его спасение. И он пожертвовал Анной, которая при живом муже пошла за Вронским. Гр. Толстой отлично чувствует, что это за муж для Анны – Каренин; как никто он описывает весь ужас положения даровитой, умной, чуткой и живой женщины, прикованной узами брака к ходячему автомату. Но узы эти ему нужно считать обязательными, священными, ибо в существовании обязательности вообще он видит доказательство высшей гармонии. И на защиту этой обязательности он восстает со всей силой своего художественного гения. Анна, нарушившая «правило», должна погибнуть мучительной смертью.

Все действующие лица «Анны Карениной» разделены на две категории. Одни следуют правилу, правилам и вместе с Левиным идут к благу, к спасению; другие следуют своим желаниям, нарушают правила и, по мере смелости и решимости своих действий, подпадают более или менее жестокому наказанию. Кому многое дано, с того много и взыщется. Анна – наиболее даровитая, ее ждет крайний позор. Другие страдают меньше – пока. Нужно думать, что если бы граф Толстой довел в «Анне Карениной» до конца жизни всех своих героев, то всем было бы воздано по соответствию с тем, насколько и как они нарушали «правила».

Однако, в «Анне Карениной» объем «правил», почитаемых гр. Толстым за обязательные, еще сравнительно невелик. В эпоху создания этого романа художник дает добру только относительную власть над человеческой жизнью. Более того, служение добру как исключительная и сознательная цель жизни еще отрицается им. Как в «Войне и Мире», так и в «Анне Карениной» гр. Толстой не только не верит в возможность обмена жизни на добро, но считает такой обмен неестественным, фальшивым, притворным, в конце концов обязательно приводящим к реакции даже самого лучшего человека. В «Войне и Мире» он произносит суровый приговор над Соней, этой добродетельной, любящей и так глубоко преданной семье Ростовых девушкой. В эпилоге, где выступают на сцену молодые семьи Николая Ростова и Пьера Безухова, жизнь выросших на наших глазах людей – Пьера, Наташи, Николая и княжны Марьи – изображается осмысленной и полной. Они все нашли себе свое место и свою работу и спокойно продолжают дело своих отцов. Их существование нужно, понятно. Одна Соня, случайный, всех стесняющий пришлец, уныло сидит за самоваром, исполняя роль не то няньки, не то приживалки. А за ее спиной подруга ее детства Наташа и княжна Марья, так много умилявшаяся над идеями о добродетелях и потом отнявшая у Сони Николая, обсуждают ее жизнь и приводят текст из Евангелия, которым ее жалкое положение признается вполне заслуженным.

Вот их разговор:

– Знаешь что, – сказала Наташа, – вот ты много читала Евангелие; там есть одно место прямо о Соне.

– Что? – с удивлением спросила графиня Мария.

– «Имущему дастся, а у неимущего отнимется», помнишь? Она – неимущий: за что? не знаю; в ней нет, может быть, эгоизма, – я не знаю; но у нее отнимется и все отнялось. Мне ее ужасно жалко иногда; я ужасно желала прежде, чтобы Nicolas женился на ней; но я всегда как бы предчувствовала, что этого не будет. Она *пустоцвет* (курсив гр. Толстого), как на клубнике.

Едва ли нужно говорить, что подчеркнутый «пустоцвет» и его объяснение: «у нее нет эгоизма», и потому у нее «все отнялось» – не только мнение Наташи и княжны Марьи, которая хоть и иначе толковала Евангелие, но все же, «глядя на Соню», – соглашалась с Наташей; всякому очевидно, что это мнение двух счастливых, но не выдержавших испытания добродетели женщин, есть и мнение самого автора «Войны и Мира». Соня – пустоцвет; ей ставится в вину отсутствие эгоизма, несмотря на то, что она вся – преданность, вся – самоотвержение. Эти качества, в глазах гр. Толстого – не качества, ради них – не стоит жить; кто ими только обладает – тот лишь похож на человека, но не человек. Наташа, вышедшая замуж за Пьера через несколько месяцев после смерти князя Андрея, княжна Марья, которой «состояние имело влияние на выбор Николая», – обе, умевшие в решительную минуту взять от жизни счастье – правы. Соня – неправа, она – пустоцвет. Нужно жить так, как жили Наташа и княжна Марья. Можно и должно стараться «быть хорошим», читать священные книги, умиляться повествованиям странников и нищих. Но это – только поэзия существования, а не жизнь. Здоровый инстинкт должен подсказать истинный путь человеку. Кто, соблазнившись учением о долге и добродетели, проглядит жизнь, не отстоит вовремя своих прав – тот «пустоцвет». Таков вывод, сделанный графом Толстым из того опыта, который был у него в эпоху созидания «Войны и Мира». В этом произведении, в котором автор подводит итог своей 40-летней жизни, добродетель *an sich*, чистое служение долгу, покорность судьбе, неумение постоять за себя – прямо вменяются человеку в вину. Над Соней, как впоследствии над Анной Карениной, произносится приговор, – над первой за то, что она не преступила правила, над второй – за то, что она преступила правило.

Но еще в «Анне Карениной» антипатия гр. Толстого к людям, посвятившим себя *служению* добру, проявляется со всей силой. Какой жалкой изображена там Варенька с ее бедными, больными и ее безропотной жизнью при госпоже Шталь! И с каким отвращением вспоминает Кити о своих попытках служения добру и свою встречу с Варенькой за границей. Она предпочитает лучше, чтоб ее муж был неверующим – «она, которая считает, что неверие погубит его в будущей жизни» – чем чтоб он был таким, какой была она сама за границей. Наконец, главный герой романа, *alter ego* автора (даже фамилия его произведена от имени гр. Толстого: Лев – Левин) – тот прямо заявляет, что сознательное служение добру – есть ненужная ложь. Вот что о нем рассказывает автор: «Прежде (это началось почти с детства и все росло до полной возмужалости), когда он (Левин) старался сделать что-нибудь такое, что сделало бы *добро* для всех, для человечества, для России, для всей деревни, он замечал, что мысли об этом были приятны, но самая деятельность всегда была нескладная и сходила на нет; теперь же, когда он после женитьбы *стал более и более ограничиваться жизнью для себя*, он, хотя и не испытал более никакой радости при мысли о своей деятельности, чувствовал уверенность, что дело его необходимо, видел, что оно спорится гораздо лучше, чем прежде, и что оно становится все больше и больше. Теперь он, точно против воли, *все глубже и глубже врезывается в землю*, как плуг, так что уж и не мог выбраться, не отвернув борозды». И благодаря тому, что он порвал со своим прошлым, что отказался думать о служении добру, всей России, всей деревне и т. д., он уже всегда, при всех жизненных обстоятельствах знает, что ему делать и как поступать, что важно и что не важно. Семья

должна жить так же, как жили деды и отцы, хозяйство нужно вести возможно лучше и для этого нанимать рабочих как можно дешевле. О делах брата и сестры и всех мужиков, к нему ходивших за советами, нужно позаботиться, но работнику, ушедшему домой в рабочую пору потому что у него помер отец – простить нельзя, хотя и жалко его. Левина мучила мысль о том, что он не знает, для чего живет и как жить, но, тем не менее, он «твердо прокладывал свою особенную определенную дорогу в жизни и под конец убедился, что хотя он и не ищет добра, а ищет своего счастья, но тем не менее или, вернее, именно потому его жизнь не только не бессмысленна, как была прежде, но *имеет несомненный смысл добра*».

II

Откуда же взялся этот «смысл добра»? Отчего добро пришло благословить Левина, а не других действующих лиц романа? Отчего Анна погибает и заслуженно, Вронский – обращается в развалину, Кознышев – влачит призрачное существование, а Левин мало того, что пользуется всеми благами жизни, еще приобретает право на глубокий душевный мир – привилегию немногих и исключительных людей? Почему судьба так несправедливо оделила Левина и так жестоко обидела Анну? Для другого писателя – натуралиста, например – подобные вопросы существовать не могут. Для него несправедливость судьбы – основной принцип человеческой жизни, столь очевидно вытекающий из закона естественного развития, что ему и удивляться не приходится. Но такой писатель не цитирует Евангелия и не говорит о возмездии. У гр. Толстого, наоборот, самый роман «Анна Каренина» вызван этим вопросом. Он не описывает жизнь, а допрашивает ее, требует от нее ответа. Его художественное творчество пробуждается лишь потребностью разрешить мучающие его вопросы. Оттого все его произведения, и малые и большие, и «Война и Мир», и «Смерть Ивана Ильича», и публицистические статьи имеют характер совершенной законченности. Гр. Толстой предстает перед публикой всегда с ответами и ответами, данными в такой определенной форме, которая вполне удовлетворяет наиболее требовательного и строгого в этом смысле человека. И это, конечно, не случайность, не может быть случайностью. В этом – основная черта творчества гр. Толстого. Вся та огромная внутренняя работа, которая понадобилась для создания «Анны Карениной» или «Войны и Мира», была вызвана назревшей до крайней степени потребностью понять себя и окружающую жизнь, отбиться от преследующих сомнений и найти для себя – хоть на время – прочную почву. Слишком серьезны и настойчивы все эти запросы, чтоб можно было от них спрятаться за простой обрисовкой непосредственно бросающихся в глаза образов действительности или передачей воспоминаний из своего прошлого. Нужно иное. Нужно найти свое *право* в жизни. Нужно найти *силу*, большую, чем сила человека, которая бы поддержала, защитила это право. Личные вкусы, симпатии, пристрастия, увлечения, страсти – все те элементы, на которые обыкновенно писатели-реалисты разлагают человеческую жизнь – не обеспечивают ничего и не могут успокоить гр. Толстого. Он ищет могучего, всесильного союзника, чтоб его именем говорить о своих правах. Вся сила гения гр. Толстого направлена к тому, чтоб отыскать этого союзника и переманить его на свою сторону. И в этом деле гр. Толстой беспощаден. Нет ничего такого, чего бы он не уничтожил, если б оно явилось ему препятствием к достижению этой цели. И нет границ его душевному напряжению, когда речь идет об этом священнейшем его интересе. Лгать, притворяться, придумывать ложные факты – гр. Толстой не хочет и не может. Он пишет не для других, а для себя. Поэтому-то он не только не прибавляет своему Левину ни одного не принадлежащего ему качества, но и честно и откровенно изображает все его недостатки и смешные стороны. «Таков Левин, – говорит нам гр. Толстой, – и преувеличенно ревнивый, и эгоист, бегущий общественных дел, и неловкий, неотесанный бирюк – и тем не менее добро с ним, его жизнь имеет определенный смысл добра». Он не только устроил свою жизнь соответственно своим потребностям и желаниям, но он верно угадал, куда идти, что делать для того, чтобы добро было на его стороне. А «добро» – это и есть та могучая сила, которая делает Левина великаном в сравнении с другими людьми, ибо сильнее добра – нет ничего. И в момент появления «Анны Карениной» вы могли в чем угодно убедить гр. Толстого, только не в том, что добро не за Левина. Мало того, что за Левина – оно *против* всех, кто думает, чувствует и живет не по-левински; оно против Кознышева, Вронского, против Анны, и оно им отмстит, оно их накажет, как бы временно они ни торжествовали свою победу над Левиным. Левин словно плуг взрезался в землю. Та сила, которая нужна была гр. Толстому – найдена

и на его стороне. Все Вареньки, Сони и другие добродетельные существа служат не настоящему добру; ибо они не по-левински живут – и их валит гр. Толстой в одну кучу с Вронским и Анной. Для них не уготовлены трагедии и жестокие удары, но их постылое существование хуже какого угодно несчастья. Гр. Толстой никого из жертв своих не жалеет. Вы нигде не услышите у него мягких нот сострадания, которые так часто слышны в произведениях Диккенса, Тургенева и даже у эксперименталистов, например, у Золя и Бурже, никогда не пропускающих возможности подчеркнуть свои гуманные чувства. Гр. Толстому, может быть, это покажется странным, но многие читатели упрекают его в холодности, в бесчувственности, в черствости. Вести Анну Каренину под поезд и ни разу не вздохнуть! Следить за агонией Ивана Ильича – и не пролить ни одной слезы! Это кажется до того непонятным и возмутительным многим читателям, что они готовы даже отрицать художественный гений за гр. Толстым. Им представляется, что назвать гр. Толстого гением – значит оскорбить нравственность, ставящую впереди всех своих требований умение сочувствовать несчастью ближнего. Они считают своей важнейшей обязанностью переводить гр. Толстого в разряд второклассных писателей, не могущих сравниться с Диккенсом или Тургеневым, полагая, что таким способом они отстаивают святое право сострадания. По их мнению, тот не может называться великим художником, кто не проявляет достаточно сочувствия к страданиям ближнего. И они – эти читатели – по-своему даже слишком правы. Они хотят быть сострадательными, потому что сострадание – это все, что они могут дать от себя обиженным судьбой людям. Жалея несчастных, проливая слезы над погибающими – они успокаивают вечно тревожащие их упреки совести. «Нельзя поставить на ноги свалившегося – так поплачем над ним, все легче будет», – рассуждают они. Кому легче будет? На этот вопрос они не отвечают, этого вопроса они себе не ставят, не смеют ставить. И понятно, гр. Толстой, не проявляющий гуманных чувств, пугает их, и они торопятся к «Степному королю Лиру», к рассказам Диккенса, даже к «Лурду», ибо там ужас, возбуждаемый картинами несчастья, разрешается благородными чувствами сострадания, подсказываемыми авторами читателю. Даже Золя, тот Золя, которого так не любит гр. Толстой, во всех своих произведениях приводит нас в умиление своей способностью сострадать горю своих героев.

У графа же Толстого нет и следа такого мягкосердечия. Русская публика с ужасом услышала весть о рождении в Европе нового направления – ницшеанства, вождь которого проповедовал беспощадную суровость к слабым и несчастным. «Что слабо – то нужно еще толкнуть». «Не желай быть врачом у безнадежно больного»... Мы думали, что до Ницше никто не возвещал таких и подобных им правил, как заповедей нравственности. Более того, мы были убеждены, что попираемая на Западе нравственность найдет у нас в России надежное убежище. Против Ницше мы считали возможным выставить своего богатыря, «великого писателя земли русской» – гр. Толстого. Даже те читатели, о которых шла речь выше, читатели, инстинктивно бежавшие от гр. Толстого к Тургеневу, даже и они видели в авторе «Войны и Мира» своего естественного и могучего защитника против надвигающейся с Запада грозы. И гр. Толстой выступил против Ницше и его направления с чисто юношеской на вид свежестью и страстью убеждения. В книге «Что такое искусство», как уже было замечено, речь идет не об искусстве и даже не о французских поэтах и операх Вагнера, о которых в ней подробно говорится, – речь идет о более серьезных и важных вопросах, чем искусство – о нравственности, о религии и о более значительном и глубоком писателе, чем Верлен или Бодлер – о Ницше. Правда, имя Ницше редко называется гр. Толстым, цитат из его произведений совсем нет. Но гр. Толстой делает Ницше ответственным за новое направление в литературе. Он говорит: «Это последствие ложного отношения к искусству уже давно проявлялось в нашем обществе, но в последнее время, с своим пророком Ницше и последователями его и совпадающими с ним декадентами и английскими эстетамы, выражается с особенною наглостью. Декаденты и эстеты вроде Оскара Уайльда избирают темой своих

произведений отрицание нравственности и восхваление разврата». К сожалению, повторяю, гр. Толстой, возлагая на Ницше ответственность за все грехи нового поколения, не касается ни одним словом его философского учения. Мне кажется даже, что гр. Толстой знает о Ницше только понаслышке, из вторых рук. На это указывает, между прочим, сближение, делаемое гр. Толстым между Ницше и О. Уайльдом. Если бы гр. Толстой знал сочинения Ницше, он бы не повторил этих слов. Если бы гр. Толстой читал Ницше – он едва ли бы стал говорить о «наглости». Можно принимать или не принимать учение Ницше, можно приветствовать его мораль или предостерегать против нее, но зная его судьбу, зная, как пришел он к своей философии, какую ценою было им куплено «свое слово» – нельзя ни возмущаться им, ни негодовать против него. У Ницше было святое право говорить то, что он говорил. Я знаю, что слово «святой» нельзя употреблять неразборчиво, всуе. Я знаю, что люди охотно злоупотребляют им, чтобы придать больше весу и убедительности своим суждениям. Но в отношении к Ницше я не могу подобрать другого слова. На этом писателе – мученический венец. У него было *все* отнято, чем красится обыкновенно человеческая жизнь, и взвалена такая тяжкая ноша, какую редко кому-либо приходится нести на себе. У него есть рассказ о трех превращениях, которым подвергается человек в своей жизни. Сперва, говорит он, человек превращается в верблюда. «Что тяжело? спрашивает выносливый дух, и, подобно верблюду, опускается на колени и ждет, чтоб его нагрузили. Что наиболее тяжело, вы, герои? так спрашивает выносливый дух – я возьму все это на себя и буду радоваться своей силе. Унижаться, чтоб оскорбить свое высокомерие? Дать проявиться своей глупости, чтоб посмеяться над своей мудростью? Или покинуть свое дело, когда оно готово праздновать победу? Взбираться на высокие горы, чтоб искушать искусителя? Или питаться желудями и травой познания и ради истины терпеть духовный голод? Или в том: быть бедным и отсылать утешителей и вести дружбу с глухими, которые никогда не слышат, что тебе нужно? Или в этом: идти в грязные воды, если это воды истины, и отбрасывать от себя холодных лягушек и горячих жаб? Или в том: тех любить, которые нас презирают, и протягивать руку привидению, явившемуся пугать нас? Все самое трудное принимает на себя выносливый дух, подобно верблюду, спешащему со своим грузом в пустыню, идет и он в свою пустыню».² В этих образах – краткая история длинной подвижнической жизни. Да не подумает читатель, что здесь есть хоть тень преувеличения. Наоборот – здесь главного, быть может, самого ужасного, – нет. Читая эти строки, можно думать, что Ницше, выносливый дух, добровольно шел на муки, добровольно склонил колени и сознательно принял на себя непосильную для человека ношу. В таком сознательном и добровольном подвижничестве, как бы тяжело само по себе оно ни было, есть утешение гордости: человек чувствует, что он шел на великое дело. Но у Ницше этого не было. Несчастье свалилось на него внезапно, неожиданно, может быть, в тот именно момент, когда он ожидал себе награды за свою прошлую жизнь. Когда его поразил гром – небо было над ним ясно и чисто; он не ждал ниоткуда опасности, был доверчив и спокоен, как малое дитя. Он служил «добру», он вел чистую и честную жизнь немецкого профессора, искал идеалов у греческих философов и новейших музыкантов, изучал Шопенгауэра, вел дружбу с Вагнером и во имя всего этого, – что почиталось им тогда самым важным и нужным – отказывался от действительной жизни. Впоследствии он говорит: «Кто уже не жертвовал собой ради своего доброго имени!» и «ни за что нам так дорого не приходится расплачиваться, как за наши добродетели». Но в то время, когда он ради этих добродетелей, ради этого «доброго имени» ушел из жизни, чтобы в тиши своего кабинета создавать новые теории (так понимал он тогда служение добру) – он не знал, не подозревал даже, что придется так неслыханно расплачиваться за свою добросовестность. Если бы он мог хоть на минуту представить себе, что ждет его в будущем, он, конечно, сильно при-

² A. S. Z. Von den drei Verwandlungen.

задумался бы над выбором пути. Но кто может угадать свою судьбу? Кто не ввернется в молодости своим учителям и идеалам? Ницше только более беззаветно, более полно, более последовательно верил в непогрешимость своих принципов. Он все задушил в себе, все природные инстинкты и запросы, которые обыкновенно умеют заставить подчинить себе и самые добродетельные души. Но у Ницше середины не было. Он учился и учил – всему, что считал важным, нужным, серьезным, и за этим делом совсем позабыл о жизни. Даже при появлении первых грозных признаков болезни Ницше не беспокоился. Он наскоро глотал разного рода лекарства, чтобы не возиться с сложным лечением и не отрываться от своего служения, и продолжал свои философские и профессорские занятия до тех пор, пока недуг не свалил его окончательно. Только тогда понял, наконец, Ницше, что добродетель не защитит его от всего. Но уже было «слишком поздно». Прошлого изменить нельзя было. Нельзя было «вернуть тот камень, который называется „то было“». Осталось одно: размышлять – искать в прошлом оправдания, объяснения ужасного настоящего. А каково было это настоящее можно судить хотя бы по тому, что единственным облегчением для него служили мечтания о самоубийстве. На „три четверти слепой“, подверженный вечным мучительнейшим и отвратительным припадкам, обреченный безжалостной болезнью на полное уединение, всегда на волосок от смерти и безумия – так прожил Ницше 15 лет, в течение которых были написаны им его главные сочинения. „Я с трудом принимаю жизнь, – говорит он, – я надеюсь, что скоро наступит конец моим страданиям“. Но конец наступил не скоро. 15 лет и для менее ужасной болезни – срок слишком длинный. Кто столько страдал и чья „вина“ была в только преувеличенном доверии к нравственным идеалам, тот вправе сказать свое слово, тот вправе требовать, чтоб его внимательно выслушали и не узнавали о нем от других.

Но возвратимся к гр. Толстому. Я сказал, что читающая публика – даже та, которая видела в гр. Толстом талант далеко не менее значительный, чем в Диккенсе или Тургеневе, – ждала от него наиболее серьезной оппозиции ницшеанству. Как ни холоден ей казался гр. Толстой – его называют человеком со стальной душой (это, между прочим, любопытно – гр. Толстой, учащий умиляться над детскими рассказами – и стальная душа!) – но в нем видели естественного защитника «добра» и противника Ницше. Особенно ввиду его публицистических статей, в которых он с такой решительностью высказался сторонником буквального понимания Евангелия. Правда, поклонники Диккенса и Тургенева далеко не всегда сочувственно относились к проповеди гр. Толстого. Они находили, что он слишком уже усердствует, требуя, чтобы образованные люди пахали землю и одевались по-мужицки. Но когда пришлось выбирать между доведенной до крайности, но привычной нравственностью и совершенно уничтожающим обычную мораль учением – все склонилось на сторону первой. Сомнения ни у кого не было: граф Толстой и Ницше взаимно исключают друг друга. Более того, даже оба учителя считали один другого своей противоположностью. Ницше, говоря о «толстовском сострадании», полагает, что указывает на нечто, ему самому совершенно чуждое. О гр. Толстом и говорить нечего: его последнее произведение, как было уже указано, имеет своей единственной целью отповедь ницшеанству.

Но так ли это? Действительно ли эти два замечательных современных писателя столь чужды друг другу? Вероятно, самая возможность такого вопроса покажется странной, тем более отрицательный ответ на него. Поэтому, ничего не предвещая, займемся первым значительным публицистическим произведением гр. Толстого, которое введет нас к его книге «Что такое искусство», а вместе с тем и к главным вопросам, занимавшим Ницше.

III

«Мысли, вызванные переписью в Москве» появились сравнительно скоро после «Анны Карениной» – промежуток между ними равняется 3–4 годам. В сущности, он еще короче, если принять во внимание признание гр. Толстого, что за эту статью он несколько раз принимался еще раньше, но ему никак не удавалось довести ее до конца. Очевидно, что перепись не была причиной перемены мировоззрения гр. Толстого. Все, что нужно было для нового душевного переворота, уже давно было подготовлено у гр. Толстого. Перепись, как это часто происходит в жизни людей, была только внешним поводом, которого гр. Толстой уже, по-видимому, давно искал. Его душевное равновесие – то, что он у Левина называл «жизнью, осмысленной добром», уже давно ушло в область воспоминаний. Может быть, «Анна Каренина» была только попыткой восстановить прошлое, и в то время, когда гр. Толстой с такой силой убеждения рассказывал нам, что «добро» с Левиным и за Левина, что Левин, как плуг, врезался в землю и делает самое лучшее, настоящее дело, – может быть, в это время сам гр. Толстой уже жил только воспоминаниями прошлого, к которым его тем настоятельнее тянуло, чем очевиднее и мучительнее было сознание, что казавшаяся когда-то столь прочной почва начинает уходить из-под его ног. Быть может, этим особенным настроением и объясняется его плохо скрытая радость по поводу возможности опозорить и унижить Анну. Он уже тогда сознавал, что теряет свои права, что хозяйство, семья, ограниченное вмешательство в жизнь крестьян, фрондирование против либерализма и газет, «отрицательное» служение добру, – словом, все то, что наполняло когда-то собою левинское существование – уже не удовлетворяет его, что снова явилась какая-то пустота, что снова недостает той прочности, которая давала ему право смотреть на всех людей сверху вниз и считать, что за него – Бог и против всех его врагов – Бог. «Анна Каренина» написана, по-видимому, *ex post facto*. Оттого-то в этом романе столько осторожной справедливости и преувеличенной внимательности ко всем действующим лицам анти-левинского направления. Никого из них, в конце концов, автор не пощадит, но именно вследствие этого все они описываются с их лучших сторон. Они – и добрые, и умные, и честные, и красивые. Гр. Толстой не торопится выставлять напоказ их слабости. Лишь изредка, мелкими штрихами, почти вставочными замечаниями он намекает читателю, в чем негодность этих людей. Но удар направлен верной и сильной рукой. Никто из них не спасется: левинское восторжествоует.

Но не надолго. «Анна Каренина» – последняя попытка, сделанная гр. Толстым, чтоб удержаться на прежней почве. Все старые интересы уже для него не существовали; он ушел уже далеко за пределы левинских радостей и огорчений. Когда он приехал в Москву перед переписью, это уже, по-видимому, не был тот гр. Толстой, который недавно напечатал в «Русском Вестнике» большой роман с мировоззрением столь ясным и определенным. Это был хотя уже и не молодой человек – ему уже было тогда за 50 лет, хотя и прославленный всеми писатель, в котором прежде всего поражали твердость и смелость убеждений, но на самом деле это был человек, весь преисполненный сомнений, знавший только одно – что то, что у него есть – ничего уже не стоит, и что нужно искать другого. Как ни странно звучит это, но ужасы, открытые им при обхождении московских приютов для бездомных и бедных людей, были для него почти счастливой находкой. «И прежде, – рассказывает он, – чуждая мне и странная городская жизнь теперь опротивела мне так, что все радости роскошной жизни, которые прежде мне казались радостями, стали для меня мучением. И как я ни старался найти в своей душе хоть какие-нибудь оправдания нашей жизни, я не мог без раздражения видеть ни своей, ни чужой гостиной, ни чисто, барски накрытого стола, ни экипажа, сытого кучера и лошадей, ни магазинов, театров, собраний. Я не мог видеть рядом с этим голодных, холодных и униженных жителей Ляпинского дома». Такое противоположение роскоши

и обеспеченности собственной жизни с нуждой, ляпинской нуждой – действительно может и должно вызвать в человеке, никогда не открывавшем глаз своих на несчастье ближнего, сильную реакцию. Но гр. Толстой не был новичком в этом деле. Автор «Войны и Мира», так мастерски нарисовавший нам все ужасы 12-го года, видевший пред собой тысячи смертей и убийств, самые страшные и отвратительные проявления человеческой жестокости и низости и вышедший твердым из жизненных испытаний, не мог смутиться зрелищем нужды, подобно тому индийскому юноше, который, впервые вырвавшись из дворца, увидел больного, старика и нищего. Я не хочу этим сказать, что с наступлением зрелого возраста человек научается или должен научиться равнодушно относиться к царствующему на земле злу. Нет, наоборот даже, взрослый человек может ближе, чем юноша, принимать к сердцу несчастья людей. Но тем загадочнее становятся для нас переживания гр. Толстого по поводу виденного им в Ляпинском доме. Сначала, передает он, его до такой степени поразила обстановка и условия жизни обитателей ночлежных домов, что он не мог говорить об этом без слез и злобы: «Я, сам не замечая того, со слезами в голосе кричал и махал руками на своего приятеля. Я кричал: *«Так нельзя жить, нельзя так жить, нельзя»*. Но потом все ему, по его словам, стали говорить, что он волнуется так не потому, что виденное им зрелище столь ужасно, а лишь потому, что он сам очень «добрый и хороший человек». И эти разговоры убедили его. «Я, – говорит он, – охотно поверил этому. И не успел оглянуться, как вместо чувства *упрека и раскаяния*, которое я испытал сначала, во мне уже было чувство довольства своей добродетелью и желание высказать людям». Впоследствии гр. Толстой понял, что его друзья обманывают его путем ложных и ловких софизмов, и что он не только не добродетельный и хороший, но очень дурной человек, и это привело его к проповеди отречения от цивилизованной жизни. Рождается любопытный вопрос, что было бы, если бы, рассматривая свою жизнь, гр. Толстой убедился, что его друзья правы, и что он точно хороший и добродетельный, а не дурной и виноватый человек? Положение обитателей ночлежных домов от этого не стало бы легче. По-прежнему на морозе толпились бы наполовину замерзшие люди, едва прикрытые разодранными лохмотьями, по-прежнему городовые водили бы в участки Христовых нищих, по-прежнему ночные обходы забирали бы кучи несчастных и отвратительных проституток – все осталось бы по-прежнему, кроме одного: у гр. Толстого совесть была бы спокойна. И тогда можно было бы быть довольным своей добродетелью и показывать ее людям, как это случилось с гр. Толстым, когда на время его друзьям удалось убедить его?

Этот вопрос гораздо важнее, нежели может показаться с первого раза. В нем объяснение того, какое дело занимает гр. Толстого, чего ищет он в московских трущобах. Очевидно – не в нищих ляпинского дома дело, а в нем самом, в гр. Толстом. Придя к этим беднякам, он ищет не дать им, а взять у них, он спрашивает не за них, а за себя. Он мог бы уйти от них, закрыть глаза, забыть их, как он это делал в прежние годы, когда сталкивался с несчастьем, – но на этот раз нищие ему нужны. Не все, а некоторые и даже не эти, ляпинские, а другие. И от тех, которые ему не нужны – он уйдет, отвернется, как отворачивался когда-то от Сони, от Вареньки, от Анны, с которыми не был непосредственно лично связан – и придет к тем, с которыми можно жить, которые не отнимают жизненную бодрость, а увеличивают ее, которые помогают врезаться, как плуг, в землю и дают возможность радостно чувствовать, что «добро» опять на твоей стороне. Словом, – те бедные, которые могут сделать то, что сделали для Левина хозяйство, пчелиная охота, семья и т. д. Что касается остальных, этих самых городских нищих, из-за которых, по-видимому, весь сыр-бор загорелся – их гр. Толстой покинет: им помочь нельзя. «У безнадежно больного не должно желать быть врачом». Эти слова, как помнит читатель, принадлежат Ницше. Я уже приводил их рядом с другим его изречением, почти тождественным: «Что слабо – то должно еще толкнуть». Последнее правило читатель, пожалуй, еще не решится применить к гр. Толстому. Но первое? Ему тоже

ужасались. А оно резюмирует собою отношение гр. Толстого к ляпинским и рожновским беднякам.

Сейчас после переписи гр. Толстой, записав всех наиболее нуждающихся, решил заняться благотворительностью. Те из его знакомых, которые обещали ему свое содействие, денег ему не дали. Тем не менее, он своих бедных обходил некоторое время и кой-кому помог. В один из своих обходов он наткнулся на голодную, не евшую два дня женщину. На его вопрос, кто она, ему ответили: «Была распутная, теперь никто не берет, так и неоткуда взять». Я не стану передавать подробностей этой ужасной сцены. Женщина точно ничего не ела два дня. Но вот заключение рассказа гр. Толстого: «Я дал ей рубль и помню, *что очень был рад, что другие видели это*». Неужели это правда? Неужели правда, что гр. Толстой «очень был рад, что другие видели это»? Не верить нельзя: дальше он, словно желая рассеять могущие возникнуть по этому поводу сомнения, говорит: «*Мне так было приятно давать*, что я, не разбирая нужно или не нужно давать, дал и старушке».

Я не хочу уличать гр. Толстого или обвинять его. Автор «Войны и Мира», автор «Мыслей, вызванных переписью» – выше всяких обличений и обвинений.

Но тем важнее нам понять смысл и значение его проповеди. Эти откровенные признания – для нас путеводные знаки, которые поведут нас вслед за гр. Толстым к тому источнику, откуда он черпал свое пророческое вдохновение. В том, что ему было приятно, «так приятно» давать милостыню даже и в тот момент, когда на его глазах разыгралась ужаснейшая драма – кто не почувствует ее в этих немногих словах: «Была распутная, теперь никто не берет, так и неоткуда взять» – в том, что друзья его могли хоть на время соображениями о чувствительности его души отвлечь его внимание от сцен московских ночлежных домов, кроется странная загадка, а может быть, и разгадка толстовской натуры. Уже теперь, не дочитывая статьи о переписи, можно предсказать, чем она окончится. Человек, которому так *нужно* быть добродетельным – так или иначе окажется правым перед собою и пред всеми. Добро уже придет к нему, он *приведет* его к себе, хотя бы для этого пришлось лишить добра всех людей.

Так и вышло, как помнят все, читавшие «Мысли, вызванные переписью». Гр. Толстой *бросил* московских бедных, потому что, как он подробно объясняет, им *нельзя было помочь*. Он кой-кому из них давал деньги – и раз, и два, и три раза, и давал столько, сколько, по их собственным расчетам, нужно было, чтобы стать на ноги – но все это ни к чему не повело. Ни одного из них гр. Толстому не удалось спасти. Тогда он уехал в свою деревню, чтоб на досуге разобраться в своих впечатлениях и найти выход из тяжелого положения. А положение, действительно, было ужасно. Слова, которыми определял гр. Толстой свое настроение: «Так нельзя жить», показывают нам, если его рассказы о московской бедноте и не произвели на нас должного впечатления, как он сам отнесся к обнажившимся перед ним язам столичной жизни. И точно, как может такой человек, как гр. Толстой жить, если наряду с ним существуют обитатели ночлежных домов? Хорошо тем, которые никогда не открывали глаза на эти ужасы. Но как быть тому, кто их видел, кто их не может забыть, не хочет, не должен забыть? Можно их помнить?

IV

Ответом на эти вопросы послужат для нас результаты, к которым пришел в своей деревне гр. Толстой. Их знают все, и подробно говорить о них не приходится. Он решил, что вся беда наша в том, что мы, интеллигентные и достаточные люди, собирающиеся помогать несчастным беднякам из ляпинского и иных домов, – что мы сами недостаточно нравственны для такого дела, и что прежде чем исцелять других, нам нужно исцелиться самим. Деньгами ничего сделать нельзя, ибо эти бедняки не в деньгах нуждаются. Их нужно научить работать, ценить и любить труд – тот труд, которым приобретаются средства к существованию. А как же можем мы научить их этому, когда мы сами ничего не делаем? Следовательно, прежде всего нужно нам о самих себе подумать, исправиться, тогда все остальное само собою устроится. Тогда мы можем словом и делом учить, а не только словом, которому наши дела противоречат; и затем, мы, отказавшись от права на чужой труд, этим самым перестанем отнимать у других те средства, которые им необходимы, а нам служат для роскоши. И гр. Толстой, сбросивши с себя европейское платье, оделся по-мужицки, стал сам для себя топить печь, убирать комнату, пахать, сеять и т. д. «И тут-то, придя к этому сознанию и практическому выводу, – говорит он, – я был *вознагражден вполне* за то, что не заработал перед выводами разума и пошел туда, куда они вели меня».

В чем же оказалась награда? В том, что ляпинские жители стали иными, что их судьба стала менее ужасной? Нет, само собою разумеется; ляпинцы забыты: лучше стал сам гр. Толстой. Оказалось, объясняет он, что, «отдав на физический труд восемь часов, ту половину дня, которую я прежде проводил в тяжелых усилиях борьбы со скукой, у меня оставалось еще 8 часов..., оказалось, что физический труд не только не исключает возможности умственной деятельности, не только улучшает ее достоинство, но поощряет ее». И далее он говорит:

«Чем напряженнее был труд, чем больше он приближался к считающемуся самым грубым земледельческому труду, тем больше я приобретал *наслаждений*, знаний и приходил тем более в тесное и любовное общение с людьми и *тем более получал счастья жизни*». Несмотря на предостережение врачей, физический труд не только не повредил здоровью, но наоборот, тем «сильнее, бодрее, веселее и добрее» себя чувствовал гр. Толстой, чем больше он работал. И сверх всего этого – что самое главное – он испытал полнейший душевный мир, успокоение совести, которое он в красноречивых и патетических словах обещает всякому, кто последует его примеру: «Ты почувствуешь радость жить свободно с возможностью добра, ты пробьешь окно, просвет в область нравственного мира, который был закрыт для тебя».

Таков результат, к которому пришел в деревне гр. Толстой. У нашего брата, учившегося человека, есть возможность хорошо жить, спастись от скуки, стать бодрым, веселым, радостным и сверх того, опять привлечь на свою сторону добро, успокоить свою совесть, сделаться очень хорошими, нравственными и счастливыми людьми. Гр. Толстой узнал это у нищих ляпинского дома, которым он шел помочь. Не правда ли, эти нищие были для него счастливой находкой, тем именно, в чем он более всего нуждался в ту эпоху, когда он уже не мог быть более бодрым, веселым, счастливым и нравственным на тот левинский манер, когда пчелиная охота, семья и все прочее так высоко ценилось? Такова уже, видно, судьба бедняков: всегда они служили и служат средством для богатых. Если нельзя или не нужно брать у них материальные блага, то они доставляют «нравственные» утешения. Оказывается, что не только не *«нельзя жить»* нам ввиду ляпинской нужды, но *можно жить отлично* – радостно, весело, бодро, совсем так, как в свое время жил Левин или Пьер Безухов после женитьбы. Даже более того, теперь, после переписи, явился один совершенно новый и чрезвычайно

важный ресурс в жизни – сознание того, что все эти радости не просто радости, как бывает у других, и даже не добро, как было у Левина, а подвиг во имя и ради страдающих ближних.

Если и прежде можно было негодовать против всех, кто не по-левински жил, если прежде можно было ради «добра» уничтожать Вронского, Кознышева, Анну Каренину – то теперь, нечего и говорить, это право переходит в обязанность, в святую обязанность, можно было бы сказать, если бы скрывающееся под словом «уничтожение» содержание не так плохо ладилось с нашими представлениями о святости. Гр. Толстой, по-видимому, только ждал того момента, когда, наконец, можно будет прямо и открыто начать проповедовать – не в романах, где нападать приходится осторожно, с соблюдением всех условий, поставляемых художественной задачей, а в специальных статьях, не имеющих никаких посторонних проповеди целей. Теперь только он нашел себе дело, настоящее дело. Правда, гр. Толстой утверждает, что он нашел способ исцелить человечество от всех общественных недугов. По его словам, он напал, наконец, на архимедов рычаг. Стоит только надавить – и весь старый мир перевернется, все бедствия исчезнут, и люди станут счастливыми. Но об этой стороне дела он говорит очень мало. Это для него само собой разумеется, так само собою разумеется, что он даже не допускает искренних сомнений в годности средств, рекомендуемых им для спасения человечества. На все возможные возражения он отвечает либо сказками о человеке, испугавшем своей настойчивостью духа моря, либо общими рассуждениями вроде следующего: «Это будет тогда (т. е. все люди тогда начнут жить по принципам гр. Толстого), *что будет очень очень скоро*, когда люди нашего круга, а за ними все огромное большинство людей, не будут считать, что стыдно идти в личных сапогах в гости, а не стыдно идти в калошах мимо людей, у которых нет никакой обуви; что стыдно не знать по-французски или последней новости, а не стыдно есть хлеб и не знать, как его ставят; что стыдно не иметь крахмальной рубашки и чистого платья, а не стыдно ходить в чистом платье, выказывая тем свою праздность; что стыдно иметь грязные руки, а не стыдно не иметь руки с мозолями, Все это будет тогда, когда этого будет требовать общественное мнение»... «Будет очень скоро!» Скоро, конечно, понятие условное: может, через 50, может, через 100 лет, – а может, и раньше. Пока с того времени, как была окончена статья «Мысли, вызванные переписью», прошло 20 лет. Несмотря на то, что гр. Толстой все это время неустанно проповедовал одно и то же, обстоятельства не только не изменились к лучшему, но стали еще ужаснее.

Если бы он теперь, как 20 лет тому назад, вздумал навестить московские ночлежные дома – он, конечно, не нашел бы там своих старых знакомых. О них позаботилось время, сметающее с земли и радости, и несчастья, но он нашел бы там новых людей, таких же ужасных, как и те, которых он когда-то видел. И этих людей теперь гораздо больше, чем было прежде. За 20 лет десятки, может быть, сотни тысяч прошли через рожновские дома, жили там, мучились там, совершали преступления, умирали – в то время как гр. Толстой совершенствовался нравственно в Ясной Поляне и готовил громовые статьи по адресу тех интеллигентов, которых его пример не соблазнял к подражанию. Что же это значит? Как может гр. Толстой говорить себе и убеждать нас, что он вполне удовлетворен за то, что не заробел перед выводами разума? О каком удовлетворении может быть речь, пока существуют ляпинцы, да еще в таком подавляющем количестве? Пророческое «будет очень скоро» оказалось неправдой, значит! И какой обидной неправдой!

Тут только сказывается то представляющееся на первый взгляд парадоксальным обстоятельство, что проповедь, как и многие другие виды духовной деятельности человека, не имеет и не ищет цели вне самой себя. По-видимому, гр. Толстой не только словом, но и примером учит людей помогать ближним. Но оказывается, что ни слово, ни дело к ближним отношения не имеют. Статьи и книги одна лучше другой, в смысле силы и полноты выражения, непрерывно напоминают читателям о беспокойном мыслителе Ясной Поляны; гр. Толстой все больше и больше укрепляется в своем убеждении, что он открыл новый путь, несо-

мненно ведущий – и скоро – к всеобщему счастью, но счастье так же далеко, как и прежде, а горе, то ужасное горе, о котором так мастерски рассказал нам знаменитый художник, осталось все тем же и даже стало ужаснее. И он «удовлетворен»? И он уже забыл свое «нельзя жить» только потому, что пашет и пишет хорошие книжки, что ему снова удалось переманить на свою сторону «добро»? Ему «так приятно давать», он считает это дело давания столь важным, что за ним можно забыть грозное «так нельзя жить» и даже выступать с суровыми, уничтожающими обличениями против всех тех, кто не видит возможности выхода по указываемому им пути?! В «Мыслях, вызванных переписью» обличитель сравнительно еще не так замечен. Гр. Толстой, вновь почувствовав приятство добра, считает себя еще слишком богатым, чтоб сердиться и негодовать. Он как будто бы надеется лаской и добрыми словами повести за собой людей. Но люди, конечно, не пошли за ним. И по мере того, как уходило время и «это будет скоро» затягивалось, счастливые времена не наступали, пророчество не сбывалось, – раздражение гр. Толстого все росло. Явилось неизбежное «кто виноват»? Кто виноват, что простое и ясное учение гр. Толстого не осуществляется? Виноваты – люди и только, конечно, люди, – ибо кто же другой, кроме людей, ответит, кому можно будет вменить в вину, на кого можно напасть, кого упрекать? Таково уже свойство нравственности. Она не может существовать без своей противоположности – безнравственности. Добру нужно зло как объект мщения, а добрым людям – злые люди, которых можно призвать к суду, хотя бы к воображаемому суду совести.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.